

И. Качалов

И. КАЧАЛОВА

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Ирина Николаевна Качалова — уроженка г. Риги, происходит из старинного дворянского рода. В 1948 году ее отец Николай Львович, композитор и органист был арестован. В 1949 году И. Качалова с матерью Татьяной Александровной, бабушкой и тремя сестрами была вывезена в Томскую область на поселение. Вернулись они в конце 1954 года. И. Н. Качалова окончила музыкальное училище им. Язепа Медынья по классу скрипки. Работала педагогом в музыкальной школе, училась на филологическом факультете Латвийского университета, работала в библиотеке. Вышла замуж, имеет двоих детей. Занимается литературной деятельностью. Автор многих рассказов и повести.

ГРЯНУЛО В МАРТЕ

1

Рижского композитора Николая Львовича Качалова арестовали в июне 1948 года в Москве, куда он приехал с целью не искать покровительства у маститого композитора, а показать ему свои произведения и получить совет, как дальше работать. Остановился он у двоюродной тетки, которую предупредил телеграммой о приезде. И надо же случиться такому! Тетя Мура повела племянника на собрание людей, интересующихся индийской философией, и в то время, как происходила встреча, дом был окружен... Арестовали всех, в том числе и Николая Львовича, при обыске у которого было найдено несколько книг «Живой этики».

Узнав об аресте мужа, Татьяна Александровна срочно выехала в Москву. Ей удалось сделать передачу Николаю Львовичу, находившемуся в тюрьме. В Ригу она вернулась в страшной тревоге, и потекли месяцы томительного ожидания известий о судьбе мужа, неизбежного страха за всю семью, состоявшую из старой матери и четырех детей. Через несколько месяцев на ее запрос было получено извещение о том, что Качалов Н. Л. осужден по 58-й статье на десять лет, которые будет отбывать в лагере под Норильском.

В Риге в 1949 году было неспокойно — по ночам производились аресты. Фамилии, в которых хотя бы один из членов семьи был в заключении, находились под надзором. Качаловой негде было укрыться, уехать из Риги с семьей. У нее не было родственников в деревне. Жили родители

мужа на хуторе, но и те все время пребывали в постоянном страхе. Начинались массовые высылки.

В ночь на двадцать пятое марта Татьяне Александровне не спалось. Она заглянула в детскую. Старшая, десятилетняя, Марина спала на спине, откинув одеяло, — ей всегда жарко. Нина уткнулась носом в подушку, кудри бабушкиной любимицы разметались. Стася, у которой вечно глаза на мокром месте, спала на боку, ее лицо, обрамленное темными волосами, и во сне хранило капризное выражение. Пятилетняя Надюшка раскраснелась, дышала ротиком. «Опять у нее насморк, надо будет спросить у матери, закапывала ли девочке лекарство?» Татьяна Александровна постояла на пороге детской и тихо вышла.

Вера Викторовна, бабушка, тоже не могла уснуть: снова разболелась правая рука, поясницу ломит, — а что тут удивляться, в ее-то годы иметь четверых внучек! Неудачным все-таки оказался брак дочери. Семья быстро росла, расходы все увеличивались; Таня забросила рисование, экстерном закончила искусствоведческое отделение, вечно занята, работа отнимает у нее уйму времени, и дом и семья фактически держатся на ней, бабушке.

Вот теперь еще и с Николаем беда приключилась — как бы от этого все не пострадали... Не надо было вообще ехать в Москву в такие-то времена; говорили же ему, а он понадеялся на лучшее. Беспечный, непрактичный, витает в облаках, свободный художник, творческая личность... нет, чтобы подумать о том, как прокормить такую ораву.

Увидев, что в комнате матери горит свет, Татьяна Александровна вошла, приблизилась к кровати:

— Мама, почему не спишь?

— Неспокойно у меня на душе, Таня, сама знаешь, кругом аресты.

— Что с Надюшкой?

— Нездорова, капризничала весь вечер, долго не могла заснуть, на рученьки просилась, у нее небольшая температура. Старшие набегались за день, как легли, так сразу и уснули. Ложись, позднота какая, этой ночью, слава богу, пронесло...

В эту минуту у дверей раздался звонок, резким требовательным вестником несчастья прорезавший тишину.

— Не открывай, — стучал зубами, произнесла бабушка.

Звонок повторился, на сей раз более требовательный, нетерпеливый, и мать поняла, что никуда не деться, от них не скроешься.

— Кто там?

— Откройте, мы из органов безопасности!

В квартиру вломилась группа мужчин: один — в штатском, трое солдат, которые встали возле дверей, с винтовками за плечами. Штатский в кожаной куртке властно сказал:

— Собирайтесь все, поедете с нами.

Женщины настолько растерялись, что ни на что не были способны, мысли иссыкли, нелегко было сосредоточиться.

— Куда нас? Почему? — с усилием выдавила мать.

— Там разберутся, потопралывайтесь, делайте узлы — расстелите простыню или скатерь и кладите туда вещи потеплее, потом завяжите концы, — уверенно распоряжался уполномоченный, для которого подобные сборы были обычной работой.

В детской бабушка натягивала чулки капризничающей Надюшке, старшие одевались сами.

— Баука, а там школа будет? — звонко спросила Марина, поглядывая на солдата в дверях.

— Будет, будет, детонька, — голос бабушки осекся, она смахнула с щеки слезу, приказывая себе крепиться хотя бы ради детей.

Тем временем мать металась по квартире. Рояль, ноты, композиции Николая, ее картины, этюды, репродукции, библиотека — все пропадет, сгинет бесследно... Но не терять мужества, сосредоточиться, взять что-то теплое: кофточки, носки, шарфики. Подошла к секретеру, сунула в карман коробочку с обручальным кольцом, университетский значок. В комнату заглянул уполномоченный, он торопил, этот сытый человек в кожаной куртке, ему хотелось поскорее попасть домой, в теплую постель, а солдаты, бесстрастные, словно истуканы, продолжали охранять двери, дабы не сбежали государственные преступники мал мала меньше; было ли этим парням жаль женщин и детей, которых они вывозили, вспоминали ли они своих родных, деревенские края, матерей, белоголовых веснушчатых сестренок, или они стоя спали, утомленные учениями, ночной службой, — кто знает. Они посадили в ожидавший у ворот крытый грузовик мать, старуху, девчонок, забрались сами, и машина отъехала от маленького загородного дома, окруженнего ухоженным садом, в котором замерли, похнили посаженные Николаем Львовичем в честь четырех дочерей четыре деревца махровой сирени. Глухо, возмущенно роптали сосны рижской окраины, переплетаясь вет-

вями и корнями, словно пытаясь задержать, остановить неправедный рейс. Ни огонька не было вокруг в эту глухую мартовскую ночь.

Товарный состав, битком набитый людьми, тащился в сторону Центральной России. Люди сидели и лежали на узлах, тюках, мешках, чемоданах, стонущие, бредящие, потрясенные, молчаливо возносящие молитвы далеким и любимым. Сквозь щели и дыры в теплушке, в которой ехали Качаловы, пробивался утренний свет. Невыспавшиеся, ничего не понимающие девочки забились в уголок, прикорнули на узлах.

— Мама, пить хочу, — попросила Надюшка. Мать достала из узла кружку, приблизилась к седому крестьянину, дремавшему возле большого жбана, и по-латышски попросила воды для ребенка. Он молча нацедил пол-кружки кваса. У многих вывезенных из сельской местности были с собой бидоны, мешки, кадушки с медом, картошкой, салом, хлебом. Только теперь мать поняла, как легкомысленно они собрались в дорогу, взяв с собой одно лишь барахло. Впрочем, запасов в доме не было.

Состав со скрежетом затормозил, остановился, с трудом отодвинулась дощатая дверь теплушк, и, щурясь от ярких лучей дня, люди увидели двух солдатиков с большим котлом какого-то варева. Обед принесли.

И снова они куда-то ехали. Мать держала на руках младшую дочь, которая разболелась, стала кашлять. Гогречь лежала тяжелым пластом — за что? Что сделали плохого четыре девочки, старуха-мать? И в чем, собственно, вина Николая? В том лишь, что он читал книги «Живой этики»? Но ведь в этих книгах говорится о доброте, терпении, справедливости, о заложенных в человеке огромных творческих возможностях, беспредельности совершенствования, красоте мира... Если эти понятия караются законом, в таком случае преступниками являются Толстой, Достоевский, Ромен Роллан, Чехов, Райнис... впрочем, этот список можно продолжить, потому что любой честный писатель пишет о нравственности, о любви к людям! О, страшное время, жуткое средневековье, узость взглядов, бессмысленная жестокость! Защиты ждать не от кого, потому что ссылки и аресты санкционируются

свыше. Надо набраться огромного терпения, бороться за жизнь близких и надеяться, надеяться...

Мерно отстукивали колеса состава, равнодушно-однообразно подрагивали теплушки, и было в этом ритме нечто неумолимое, всесильное, и то появлялись, то затухали в сознании слова: «Все перемелется, все образуется, надо вытерпеть, надо...»

Время от времени гудел паровоз, и в его надтреснутом хрюплом крике слышалась лютая звериная тоска.

Состав, везущий людей в ссылку, тем временем миновал Уральские горы и шел теперь по великой Сибирской равнине, освоенной и разработанной многими поколениями ссыльных, к неисчислимой веренице которых, бывших и живущих, прибавлялась еще горстка ни в чем не повинных прибалтийцев.

Состав прибыл на запасные пути Томской железнодорожной станции. Ссыльных поместили в пересыпочный лагерь — надо было переждать, пока пройдет весенний лед и установится навигация на Оби.

В большом дощатом бараке на нарах лежали по несколько человек, среди ссыльных свирепствовали брюшной тиф и дизентерия. Девочки, нахолившись, словно воробы, сидели на нарах, почесываясь от неизбежных вшей. Мать достала лекарство, и Надюшке стало лучше, зато заболела бабушка; полуприкрыв некогда красивые серые глаза, она пластом лежала на нарах, скорбная, исхудавшая, еле произнося несколько слов в день, — у нее возникла странная болезнь: распух и еле ворочался язык. Мать к этому времени уже обрела способность трезво мыслить. Хрупкая тридцатичетырехлетняя женщина понимала, что отныне выживание семьи будет целиком зависеть от ее энергии и самообладания.

Иногда по просьбе старших девочки-Качаловы пели латышские народные песни, которым научились еще в Риге, и когда раздавались слабенькие детские голоса, то светились лица окружающих и вместе со слезой во взглядах проскальзывала надежда.

Во дворе лагеря было установлено несколько непрерывно топящихся печей, к которым тянулись длинные очереди ссыльных — серая однообразная цепочка людей с котелками, сковородками и чайниками. Обедов больше

не давали, каждый кормился как мог, люди доедали свои запасы. Мать, отобрав из их скарба вещи получше, выменивала на них сало, хлеб, картошку, — крошечные порции.

Вскоре подул пронизывающий ветер, от которого завинело, как долго продержат людей в этом гиблом месте, и пусть люди мерзли в тонкой одежонке, они радовались ветру, при котором быстрее очистится река от ледяных заторов.

Наконец лед прошел, ссыльных погрузили на баржу, ведомую буксиром, и начался третий этап пути.

Обь в этих краях, еще не достигшая своей необъятности, все же была достаточно широкой, чтобы оправдать звание великой сибирской реки. Правый берег ее темным гребнем вздымался над водой, низкий левый затоплялся весенним разливом. Обь стремительно текла на север, расходясь волнами и крутясь водоворотами, таща за собой взбаламученные песок, глину, помет, щепки и все что угодно; порою на поверхности плескала хвостом крупная рыбина, и снова однообразное течение мутной воды, которая никогда не устанет стремиться к морю. Порою на крутом обрыве темнели избы, ограды деревеньки, и снова по обоим берегам тянулась тайга — сосны, ели, кедрач, редкие березы да осины с еще голыми ветвями.

У ссыльных были на исходе здоровье и силы. Больные заражали здоровых, для многих этот путь по реке стал последним. На барже в невыносимой духоте находилась кашлем Надюшка, — вероятно, у нее было воспаление легких. Мать разрывалась между двумя больными — дочерью и матерью, несколько раз обращалась с просьбой о лекарствах к сопровождающему сотруднику в штатском, но тот, кроме аспирина, ничего не имел. Сотрудник в сопровождении матроса каждый день делал обход, узнавал, сколько умерло, следовательно, сколько людей надо вычеркнуть из списка. «Какой все-таки хлипкий народ, эти прибалтицы, ни одного мало-мальски здорового человека не осталось», — раз высказался он. Приблизившись к Качаловой, которая уже двое суток держала младшую девочку на руках, затихшую после очередного жестокого приступа кашля, он наклонился, чтобы уловить дыхание.

— Она у вас мертвая, давайте ее сюда.

Мать вцепилась в ребенка, в ужасе пытаясь как-то отгородиться от зловещего человека, рядом застонала бабушка, мыча что-то нечленораздельное. «Скорее, скорее бы прибыть на место», — молила судьбу мать.

Баржа причалила к низкому берегу, проросшему первой весенней травой. Ссыльных высадили на открытое всем ветрам пространство. Чуть поодаль на фоне загадочной и мрачной сибирской тайги чернело несколько заброшенных изб.

Несмотря на неизвестность и неопределенность положения, люди радовались тому, что под ногами земля, а вокруг много воздуха, которого так не хватало на барже. Ждали подвод, которые доставят ссыльных в назначенные им деревни. Надюшке полегчало, кризис миновал, мать посадила ее на большой узел, прикрыла чем могла. Три девчонки молча сидели рядом, тут же находилась больная бабушка. Когда прошло несколько часов, а подводы все не появлялись, настроение у голодных и озябших людей снова резко упало. Наконец появилась вереница запряженных в телеги лошадей, медленно покачивая в такт шагам гриставыми головами, они приблизились к горстке измученных этапом людей.

Деревня Клюквинка, куда на вечное поселение были определены Татьяна Александровна с матерью и четырьмя детьми, двумя десятками изб затерялась среди густой буреломной тайги. В деревне был сельсовет, почта, где одна работница выполняла все почтовые операции, школа, размещавшаяся в двух комнатах: в одной — Лукерья Ивановна работала повременно с первым и вторым классами, в другой — Марья Никитична диктовала упражнение третьему классу, потом задавала решать примеры четвертому.

Для жилья Качаловым выделили старую баньку на отшибе деревни, дверь не имела запора, половицы выщерблены, и очень скоро оказалось, что протекает крыша. Кое-как разместились. К ним стали заходить деревенские женщины, смотрели с любопытством и жалостью на необычных ссыльных — дети мал мала меньше, больная старуха, да и молодуха долго не протянет, уж больно бледна и худа. Кто жил поближе, принесли молоко, хлеб, мать хотела отблагодарить, сунула какую-то вещичку — не взяли.

Она пошла за кем-нибудь из медперсонала, врачом или фельдшером, чтобы посмотрели больную, которая уже не говорила, ничего не ела и стала похожа на живые мозги. Врача в Клюквинке не оказалось, фельдшер обещал зайти.

Мать направилась на почту и написала весточку родным, так как теперь был постоянный адрес. Написала также в музей, где работала до высылки, чтобы прислали приглашающуюся ей зарплату. И третий визит был в комендатуру, где взята на учет ссыльная Качалова с семейством.

Веру Викторовну похоронили на заросшем травой деревенском кладбище, где появилась еще одна безымянная могила с неструганым крестом. Вокруг качались ромашки и клевер, темнели ели, мать стояла без слез, обрывались какие-то очень нужные связи, пустота обволакивала, хотелось упасть на колени и молиться этим вольным деревьям, которые, наверное, знают что-то важное о жизни и смерти, иначе разве стали бы так безмятежно шелестеть, низвергаясь каскадом листьев...

Бедная мама, всю жизнь служила близким своим, рано потеряла мужа, посвятила жизнь дочери, безропотно взвела на плечи воспитание четырех внучек и так же стонически терпела в дороге недуг свой. Бедная родная мама, прости меня...

Мать побрела домой, быстро взглянула на девочек — что они? А они вроде и не поили ничего, смерть близкого им существа не коснулась их сознания, они не осознали еще, что вообще происходит. Когда девочки затихли, мать долго еще лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к глухому тревожному шуму таежных деревьев. Вдруг за дверью послышалась возня, слабый стук. Она приподняла голову. Воры? Но красть у нас нечего. Мальчишки, хулиганы, решившие напугать? Странный шум за дверью становился сильнее. Мать с тоской подумала о том, что место пустынное, задвижки на двери нет, только жалкая, прикрученная к гвоздику веревка...

— Мама, что за шум? — спросонок пробормотала Нина.

— Ничего, это ветер, спи.

Девочка повернулась на бок и затихла. Возня за дверью, сопровождаемая стуками, не прекращалась. Мать встала, решительно шагнула к двери и громко спросила:

— Кто там?

Молчание.

— Кто там? — настойчиво переспросила она, решив положить конец неизвестности.

С сухим треском дверь распахнулась в темноту, ударились о внешнюю стену. Брассыпную бросились коты, сверкнув в смоляной ночи фосфоресцирующими глазами. Так вот кем были эти хулиганы, нарушители деревенской ти-

шини! И снова безмолвие, пугающее, глубокое, а над головой — крупные сибирские звезды.

Проснувшись, девочки босиком побежали к ручейку, который протекал под горкой вдоль таежной опушки. Комаров здесь полчища; звеня, выплясывали они над водой и кустами, радуясь слуху попить человеческой кровушки. Умывшись, с зудящими волдырями, вернулись девочки обратно, а на столе уже молоко и хлеб. Молоко брали у соседки-украинки, на ограде вокруг ее дома всегда сушились кринки, в сумерках они казались большими причудливыми птицами. Она научила мать печь шанишки из картофеля, варить суп из черного хлеба, сдобренный подсолнечным маслом.

Пришло письмо из Риги от потрясенных родителей Николая, а вскоре и первая посылка, содержащая сухие продукты: супы, кисели, какао, яичный порошок.

Однажды пришел бригадир:

— С завтрашнего дня вы должны будете выходить на полевые работы. Не умеете? Научитесь. Будете получать продукты за трудодни. А то зимой что жрать будете?

Наутро мать в обычном сереньком платье, повязав на голову платочек, отправилась на место сбора, с ней увязалась крепышка Нина. Колхозниц на грузовике подвезли к линялым полям. Светло-зеленые стебли льна с семенной коробочкой на верхушке местами полегли от недавнего ливня; жесткие, крепко вцепившиеся корнями в глинистую почву, они плохо выдергивались. От работы скоро стали гореть ладони, заныли суставы рук и ног, предательски одеревенела спина. Колхозницы же работали споро, легко, значительно опередили новичков — мать и дочь.

В двенадцать сельская повариха позвала обедать. Такого вкусного супа, сваренного из гороха, картошки, они наверняка еще не едали! После обеда пошло полегче, словно лен стал более послушным, но последние часы рабочего дня мать двигалась уже ползком.

По сельской пыльной дороге колхозницы возвращались домой мимо еще не убранных полей, ивовых кущ, перелесков, шагали ровно и бодро и даже затянули песню.

Мать как вошла в избушку, так сразу же и упала на свое одеяло. На следующий день она не вышла на работу, ныл каждый мускул, поднялась температура. Осмотрев пациентку, фельдшер написал справку о временной нетрудоспособности. Но короткая передышка не радовала — сельских работ ей не выдержать. Соседки понимающие качали головами:

— Пропадете вы здесь, телом не вышли. Вам в город проситься надо.

Мать направилась в комендатуру и изложила там свою просьбу. Сказали подать в письменном виде, она так и сделала. Она, художница и искусствовед, просит перевести ее в районный центр Колпашево, чтобы иметь возможность работать по специальности. Кроме того, детям надо дать возможность учиться. Волнуясь, мать ожидала ответа.

Наступил август, когда ночи стали длиннее, остужали холодом. Она ждала, надеясь и вновь впадая в отчаяние.

Бедные мои дети, неужели будете вы необразованными, неужто культурный род иссякнет? А они веселые, развязятся, как зверьки. Что ж, здоровы, и за то спасибо.

Как-то раз в избушку ворвались запыхавшиеся от быстрого бега девочки:

— Мама, к нам тетя едет!

— Какая тетя, вы что, бредите?

— Мы сами сначала не поверили, но Сенька сказал, что она на подводе из Могилева едет, он тоже на той подводе был, но возле деревни соскочил и побежал по тропинке вперед — нам сказать.

— Да не может этого быть!

Они все выбежали на дорогу, полные сомнений и ожидания. Неужели розыгрыш, не верится, чтобы одна из сестер Николая решилась на такую поездку! Но вот вдали, на подступах к деревне, на фоне уже пожелтевших деревьев показалась высокая фигура странницы, обремененной кладью. Девочки сорвались с места, только пятки засверкали. Добежав до тети Оли, они уткнулись в ее колени, смяли платье. Тут и Татьяна Александровна подоспела, женщины расцеловались, на глазах у Ольги Львовны выступили слезы.

Уже в избушке, распаковывая гостинцы, она рассказала о том, что они испытали, узнав о ссылке Тани и детей. Лев Петрович ходил хлопотать, но ему ничего вразумительного не ответили, отсоветовали писать в вышестоящие инстанции. Получив письмо из Сибири, Ольга Львовна сразу поняла, что поедет. Рассказывала о мытарствах, дорожных перипетиях, расспрашивала о деревенском житье-бытье.

Потом женщины сходили на бабушкину могилку, Ольга Львовна долго вытирала глаза, сморкалась. Заговорили о ближайшем будущем. Тетя Оля воодушевилась, услышав планы о возможном переводе в город. Мать сказала:

— Если бы я могла сама съездить! А так волокита одна, нервничаю я очень, ведь скоро зима, здесь она наступает рано.

— Купи обязательно детям валенки, платки, рукавицы — все, что надо. Я привезла вам денег, которые мы собрали, тут и от знакомых есть, и, между прочим, Таня, твоя последняя зарплата, — Ольга Львовна передала матери конверт с четырьмя тысячами.

— И вот что, по дороге обратно я заеду в это самое Колпашево и похлопочу за вас. У тебя детишки, должны разрешить, ведь не все же звери, в самом-то деле.

Провожая Олю, мать вышла далеко за деревню, и вот уже надо прощаться, и снова полная неизвестность, щемящее чувство разлуки с родным человеком, частицей старой жизни. Мать смотрела вслед подводе, пока та не скрылась за поворотом, за шелестящими желтыми березками.

Молодец, Ольга Львовна, помогла! Через три недели в Клюквинку пришла бумага о разрешении на перевод ссыльной Качаловой с четырьмя детьми в районный центр.

5

Температура упала до нуля, лиственные деревья за несколько часов оголились, старожилы поговаривали, что зима нынче будет ранняя, суровая, вон какие багряные гроздья у калины. Из деревни выезжали на подводе, однако в пути Качаловых застал снег, он падал часто, густой и липкий, и скоро все вокруг стало белым-белым.

В ближайшей деревне подводу поменяли на сани. Петрович, крепкий пожилой мужик с темными прокуренными зубами, за сотню согласился подбросить до левого берега Колпашева. Ехали через тайгу, заснеженные лапы пихт и елей низко свисали над санным путем, время от времени осыпая ездоков пушистыми белыми хлопьями. Тишину нарушали скрип под полозьями, причмокивание возчика да ровный глухой стук копыт. Когда приблизились к Оби, Петрович щелкнул языком:

— Придется переждать, не встала еще река, сало это, не лед, по такому никто на ту сторону не пойдет.

Несколько дней прожили они в избе паромщика. Девочки устроились на дощатых нарах, под которыми в закутке кудахтали куры, хрюкал поросенок и, естественно, были запахи хлева. Мать то и дело выходила во двор,

подолгу простоявала у реки, всматриваясь в синеватый тонкий лед, потом, замерзшая, возвращалась в избу.

На третье утро довольный паромщик ввалился в избу, скинул тулуп:

— Встала река, теперь прочно, сам испробовал. В город сходил, вот хлебушка принес.

Реку перешли пешком.

Колпашево — небольшой сибирский город с двадцати тысячным в те времена населением. Каменных домов здесь — раз, два и обчелся, центральная улица, мощенная деревянными чурками, обсажена по обочинам тополями. В городе насчитывалось две средних и столько же семилетних школ, несколько детских садов, поликлиника, кинотеатр, клуб.

Горожане работали в тресте Отдела райпотребсоюза, в речном пароходстве, на кирпичном заводе, но не потеряли связи с землей. Почти каждая семья имела земельный надел, чаще всего около дома, где люди сажали картофель, капусту, огурцы, кое-кто из жителей держали кур и поросенок, коров, зато в магазинах было пустовато — сахар, соль, конфеты, консервы.

Мать присмотрела комнату с отдельным выходом в длинном бараке, построенном неподалеку от Оби. К комнате примыкали крошечная кухонька и прихожая, называемая сенками. В стоимость квартиры — три тысячи старыми деньгами — входили три сотки земли и сарайчик для дров.

Итак, переезд состоялся, и буквально через неделю старшие девочки, Марина и Нина, вновь стали советскими школьницами, только в далеком северном крае. Матери предложили преподавать в школе рисование, и, несмотря на педагогическую некомпетентность, она согласилась. Осталось пристроить младших. Она пришла в детский сад, обратилась к приятного вида заведующей:

— Я хотела бы отдать двух дочек в ваш садик, им шесть и пять лет, мы только что приехали...

— Откуда вы приехали? — Заведующая внимательно рассматривала незнакомую женщину, в облике которой было что-то нездешнее.

— Мы ссыльные.

Лицо заведующей вытянулось.

— К сожалению, у нас нет мест, все занято...

— Это потому, что мы ссыльные? Вы не имеете права! Мы такие же люди!

Видя упорство матери, заведующая заколебалась. В городе жило довольно много ссыльных, и некоторые из них, учитель музыки Исурин, врач-терапевт Божко, имели неплохую репутацию у населения.

— Ладно, приводите завтра детей, но чтобы чистенькие были и волосы аккуратно заплетены, — заведующая не удержалась, сверху вниз посмотрела на мать.

В длинной комнате с одним большим окном было пусто, на мебель денег уже не хватило, но выручила изобретательность. Из широкого прочного листа фанеры и четырех чурок сосед сколотил кровать, на которой валетиком будет спать она со старшими, а младшим соорудили двухэтажные нары. Из пустых фанерных ящиков, груды которых загромождали двор ближайшего магазина, получился отличный шкафчик с четырьмя отделениями, задрапировать тканью самодельную мебель было уже последним штрихом. Итак, быт постепенно налаживался. Сын соседа, паренек лет четырнадцати, за небольшую плату согласился носить воду из реки: колонок, в этом районе не было, а колодцев вообще колпашевцы не знали.

Расходы, расходы, для каждой мелочи приходилось звать людей. Со временем многое она научилась делать сама. Прибить гвоздь, наколоть дров, заменить электрическую пробку со временем станет для нее парой пустяков, а пока и она, и девочки были беспомощны.

Зима, как предсказывали старожилы, разыгралась суровая, девочки возвращались домой с обмороженными щеками, терли снегом, мазали жиром, но багровое пятно долго оставалось, словно метка, что не местные они, не сибирички. Если термометр показывал ниже тридцати, детям разрешалось не посещать детские заведения.

Весело искрится снег на зимнем солнце, от каждой печи, каждой трубы поднимается в небо прямой, словно восклициательный знак, столб дыма, в пейзаже какая-то величавая красота, чувствуется дыхание первозданной, не укрупненной цивилизацией природы. Мать смотрела на девочек и находила, что им, пожалуй, впрок пошел сибирский воздух: веселые, глаза блестят. А ей было не до веселья, трудно, ох, как трудно каждый день начинать с одной мыслью — лишь бы до вечера дотянуть...

Преподавание рисования в школе — гиблое дело, особенно если не обладаешь звучным голосом, властным ха-

рактером и стальными нервами. Ничего этого у матери не было и в помине, и каждый в классе делал, что хотел, шум стоял невообразимый, и можно было рассчитывать на поддержку только двух-трех спокойных по характеру девочек. Мать пытаясь как-то заинтересовать ребят — приносила в класс репродукции известных художников, рассказывала о картинах и судьбах их авторов, — но мальчишки и девочки предпочитали разрядиться, весело поболтать. Пусть эта худущая выбегает из класса, все равно им ничего не будет, ведь она латышка, ссыльная, и все равно в четверти поставит четверку или тройку...

После работы мать торопилась домой, ежась, входила в ледяную комнату, быстро растапливала печь, согревала приготовленный с вечера обед, стараясь, чтобы к приходу дочерей в комнате было уютно. Садилась латать шаровары или перешивала платье одной из дочек, удлиняла рукава, порваные места скрывались за декоративной заплатой. Дети должны быть чистыми и подтянутыми, чтобы никто не мог бы бросить пренебрежительно: «Эх, ты, ссыльная грязнуля!» Было ли девочкам хорошо, не обижали ли их местные? Нина несколько раз рассказывала, что подралась с мальчишками, особенно с Колей Щепеткиным, потому что он дразнил ее; последний раз она его ушипнула, после этого он якобы всех предупредил:

— Не троньте ее, она больно щипается.

У старшей более тихий, задумчивый характер, а младшие еще в таком возрасте, когда быстро уживаются, приспосабливаются, сливаются с окружающей средой. В последнем таилась немалая опасность.

Соседи по бараку были разные. Слева от Качаловых жила скромная семья Мухачевых. Муж и жена много работали, их редко можно было застать дома, а старая бабушка дни проводила за вязанием. Справа жили Башмачкины. Муж работал грузчиком, любил выпить и тогда становился шумным и скандальным. Жена не работала, добела выскабливала половицы, стелила на постель белоснежные покрывала, сверху клала гору подушек, а сами спали на полу, тут же и сын Генка. На стене у них красовался нарисованный маслом стенной ковер, на котором были изображены овальный пруд, белая беседка среди темно-зеленых деревьев и на первом плане — лебеди.

В десятой квартире жили муж и жена Божко, евреи, высланные из Черновиц еще в 1940 году. Бруно Абрамович, мрачный, с грубоватыми чертами лица, работал в местной поликлинике. Сима, маленькая, черноволосая, с

лучистыми карими глазами, микробиолог, не нашла себе работу и занималась огородом, разведением коз. С ней Татьяна Александровна могла отвести душу.

Говоря о массовых репрессиях, обе они винили Сталина.

— Куда же подевались честные люди в правительстве, почему они не дают отпор? — недоумевала мать. Она сидела в чистенькой комнате, пила нелюбимое козье молоко, которым Сима постоянно потчевала.

— Многие уничтожены, другие боятся и молчат, каждому ведь своя шкура дорога, — резко и убежденно говорила Сима, однако старалась не повышать голоса, ведь и у стен есть уши. Она рассказала матери то, о чем говорили еще в Черновцах.

— Stalin определенно страдает манией преследования, смертельно боится заговоров, покушений. Говорят, что по улицам разъезжает и на парадах выступает его двойник. А сам он маленького роста, невзрачный и прихрамывает. Жену свою убил в припадке ревности. В общем, это больной и несчастный по-своему человек.

— Что не мешает ему щедро проливать кровь народа. Недаром его прозвали Иосифом-кровавым. Еще Берия, через которого идут все процессы.

— Да, это страшный человек, похоже Ежова, — черные глаза Симы сверкнули ненавистью.

— Как вы думаете, наше положение изменится или всю жизнь здесь? — спросила мать.

Сима нагнулась к самому уху собеседницы:

— Если Сталина не будет, я уверена, что нас освободят.

Они помолчали.

— Ну, хватит об этом, — Сима улыбнулась, обнажив красивые ровные зубы. — А Оля, которая вас сюда вытащила, кто по специальности?

— Она ихтиолог. Очень решительная, деятельная по характеру. Жаль, что она замуж не вышла, была бы прекрасной матерью и хозяйкой.

— А сколько ей?

— Она на год младше меня.

— Так, может быть, еще найдет человека. А что ваш муж пишет?

— Знаете, они имеют право писать только дважды в год. Последнее письмо пришло месяц назад, теперь не скоро будет. Написал, что положение его улучшилось после того, как родители прислали ему аккордеон, и сейчас он на более легких работах.

Сима вздохнула:

— Да, интеллигенция совершенно не приспособлена к физическому труду. Ссыльные мрут как мухи, оказавшись в нелегких условиях. Между прочим, женщины подчас выносливее. Мне рассказывали про людей, которых привезли в тайгу, без жилья, без продовольствия. Они строили землянки, хижины, почти все мужчины погибли, женщины выжили.

— Нам очень повезло, что дали избушку, но все равно в деревне я бы не выдержала. Да, еще Николай Львович пишет, что в лагере, где политических содержат вместе с уголовными, часто бывают кровавые драки, убийства.

— Боже мой! — говорит Сима.

— Да, из-за денег, из-за вещей, а то и просто сводят личные счеты. Николай разрабатывает какую-то философскую теорию, и это полностью занимает все его помыслы. Ух, еле выпила кружку, спасибо, больше не наливайте. Я пойду, Сима, а то ребятки заждались.

7

В мае под напором вскрывшихся верховьев реки тронулся лед в окрестностях Колпашева, для жителей которого временно прекращались связи с миром, так как по разлившимся болотам и непролазной грязи лошадь уже не пройдет, а навигация еще не открыта. Ледоход в этих краях длится долго, дней десять. Сначала на север движутся большие куски льда, на которых конским пометом обозначены бывшие дороги, затем льдины мельчают, плывут непрерывным потоком, плывут уже более редкие льдины, видна вода, темная, словно кофе с молоком. Река несет в себе много песка и глины, вымытых с берегов, сора, помета. И эту воду пили!

К воде вели вырубленные в крутом берегу ступеньки, зимой скользкие и обледенелые, летом сухие, потрескавшиеся. В апреле — мае пласти глины раскисали, оттаивали и стекали под откос коричневыми жирными струйками, поэтому за водой можно было идти только рано утром, когда ночной морозец еще держал глину, и люди спешили наполнить бочки, кадки, ведра, на дне которых осаждался толстый слой песка и глины.

Гудя, приходил первый пароход, словно первая ласточка. Люди наконец-то получали письма, газеты, посылки. В это время под окнами бараков разливалась обширная,

похожая на пруд, лужа, в которую стекала навозная жижка из соседних хлевов. Колпашевцы семьями выходили на приусадебные участки, так как хорошо помнили поговорку: «Лето зиму кормит». По просьбе матери доктор вскопал качаловский участок. Затем началось первое в жизни семьи священное действие посева. Картофелины засыпали в лунки ростками вверх, аккуратно засыпали их землей. На следующий день посадили рассаду капусты, оставили место для огуречных грядок, технология которых была проста: возводилась продольная горка из коровьего навоза, в котором делались углубления — лунки, они заполнялись землей, вот в эти лунки и высаживалась заранее выращенная в комнатах огуречная рассада. Навоз подогревал почву, создавая нечто вроде парникового эффекта, и огурцы успевали созреть за короткое сибирское лето.

Девочки проявили интерес к огородничеству. Надюшка первая сообщила матери:

— Мама, картошка взошла!

Все пошли на огород и увидели крепенькие темно-зеленые листочки, напоминавшие гусиные лапки.

— Какая хорошенькая картошка, — сказала Нина.

Воду для поливки саженцев капусты и огурцов черпали из лужи, а когда та пересохла, то стали поливать речной. Картошку по местным обычаям окучивали дважды за лето, это была не трудная работа, и девочки отлично с ней справились. После того как кусты зацвели белыми и лиловыми цветами, стало возможным подкапывать гнезда и брать молодые клубни. Местные этого не делали, у них на все лето хватало старых запасов. Когда на грядках появились первые огурцы, девочки съели их тут же на огороде.

Летом, как обычно, колпашевские женщины, качаловские соседки, собирались в дальние леса по малину, за кедровыми орехами, пусть они еще не спелые. Мухачева пригласила и мать, но та отказалась, боясь мошек, которая, по словам старожилов, может заесть человека до смерти. Местные не опасались, надевали мужскую одежду, кирзовую сапоги, лицо мазали керосином и возвращались с полными туесками и ведрами.

В начале сентября Качаловы ссыпали в подвал сорок два ведра крупной сибирской картошки, которая здесь — главный кормилец. И вареная, и печеная, и жареная, и картофельные запеканки из нее получаются, драники, пи-

17

18

роги — всех блюд и не перечислишь. К ним еще квашеной капусты, и съят.

Встречая земляков на улице, мать приветливо здоровалась с ними по-латышски, расспрашивала о жизни, относясь к этим порядочным людям с глубокой симпатией. Но одной женщины среди ссыльных надо было серьезно опасаться.

Девочки любили сидеть у окна, наблюдать, что же там перед домом происходит. Внезапно в комнате раздался вскрик Маринки:

— Мама, Блаус идет!

Мать устремляется к двери, однако соображает, что не успеет уйти незамеченной. Тогда она приподнимает крышку и по лесенке спускается в подпол, где хранится картошка. Через несколько минут у двери раздается стук, и появляется Блаус, крашеная блондинка лет сорока пяти, на ее узких губах блуждает слашавая улыбка. Она ставит большую хозяйственную сумку на пол и спрашивает Марину:

— Мама дома? Нет? А где она?

Она вернется поздно, — не очень дружелюбно отвечает девочка, так как знает, что это очень плохая тетя. Блаус топчеться у порога, улыбки нет и в помине, лишь усталое злое выражение на худощавом лице. Через минуту она уходит, и тогда вылезает из подпола мать. Спустя некоторое время она рассказывает Симе:

— Опять эта гадина приходила!

— Что же вы ей сказали? Послали подальше?

— Я спряталась, а девочки сказали, что меня нет.

— Жаль. Я бы с ней не так поговорила. Я бы ей все высказалась!

— И очутилась бы еще севернее. Нет, лучше с ней не связываться, она уже многих в лагеря упрятала.

— У, шпионка, доносчица, — негодует Сима, — как она еще детей не начала высматривать.

Через некоторое время мать узнала, что Блаус больше в Колпашеве не живет, ее то ли отпустили, то ли перевели в другой город.

Когда мать в очередной раз пришла в комендатуру расписываться, сотрудник сказал ей:

— Подождите. — Она остановилась, слегка встревоженная. Он встал, выглянул в прихожую, удостоверился, что там никого, вернулся, посмотрел пристально на женщину:

— Вот что, вы хорошо знакомы с переселенцами из Латвии?

— Знаю, как они выглядят, здороваюсь, и это все.

— Нет, не все. У меня к вам предложение. Не могли бы вы время от времени сообщать нам кое-какие сведения о ваших друзьях и знакомых?

Вот оно что, ее хотят завербовать вместо Блаус. Она притворилась непонимающей.

— Какие сведения?

— Вы должны передавать нам те разговоры, в которых услышите что-то антисоветское. Ясно?

— Но мы не разговариваем о политике, просто избегаем этих тем.

— За это мы могли бы отпустить на родину. Подумайте о детях. Вот бумага, распишитесь вот здесь.

Но мать расписываться не стала. Она выдержала тяжелый взгляд лысеющего сотрудника с массивным подбородком.

— Посидите тут, подумайте, — он втолкнул мать в темную комнату. Она натолкнулась на стул, села, ее била нервная дрожь. Сейчас часов пять. Сколько ее тут продержат? Дети будут волноваться, но все равно она никого не подведет, не предаст. Только не волноваться, власть собой, не поддаваться ни на какие провокации...

Через некоторое время она услышала шаги и звук отпираемой двери. Вошел сотрудник, включил свет:

— Ну что же, надумали?

— Я не буду на вас работать.

Он рассвирепел:

— Детей бы пожалела! Тоже мать называется. Посмотрим, что ты скажешь, когда в лагере будешь мерзлую землю долбить.

И снова карцер, пытка неизвестностью, страхом, игра на материнских чувствах. В полной тишине мать прислушивалась к биению своего сердца: выдержать, выстоять, будь что будет.

Дверь распахнулась, и снова перед ней враждебное лицо.

— Вы согласны? — Голос сотрудника звучал миролюбиво, даже ласково, словно извиняясь за те немного жесткие меры, которые пришлось применить.

— Нет, не согласна.

Снова молния из-под бровей, сотрудник не привык к стойкости людей в этих апартаментах, здесь «раскалывались» люди покрепче этой драной кошки. И он крикнул:

— Мы вас выведем на чистую воду, у нас имеются ваши антисоветские письма к мужу.

— Таким писем нет!

— Так я вам сейчас принесу! — Он сверлил глазами, стараясь уловить страх, испуг на лице жертвы.

Мать еле на ногах стояла, однако чувствовала свою правоту, это и спасло ее и детей.

И он отпустил ее, сдался, устал, понял, что от нее ничего не добиться.

По тропинке, протоптанной в снегу, мать быстро шла к бараку; в темноте несколько раз оступилась, упала и тут увидела свет в окне — девочки не спали, ждали ее, — и она шла на родной свет, огонек и больше не оступилась. Дома девочки окружили мать:

— Мама, где ты была?

— Что случилось?

— Мы ждали тебя, не могли ни есть, ни пить.

— Ничего, дети, просто задержалась в гостях. Давайте ложиться, уже поздно. Марина, у тебя на завтра есть чистая блузка? А у тебя, Нина, чулки целые? Порвались, давай, я заштопаю.

Она прошла на кухню, зажгла керосиновую лампу, чтобы не тревожить детей, стала стирать. Тьма глазела из всех углов, норовя опутать, ужалить, за перегородкой было слышно сонное дыхание дочерей, и было страшно не за себя, а за них, только за них.

8

Воспоминания, пронзительные и яркие, в ту ночь ворвались пестрым хороводом. Вот их рижская квартира, занимающая первый этаж небольшого особняка, стоящего в саду среди левкоев, астр, георгинов, небольшая чистенькая веранда, где в каждой раме имелось ромбовидное цветное стекло, так что если двигаться вдоль веранды и заглядывать в цветные квадраты, то можно увидеть мир разноцветным, по очереди красным, желтым, голубым или фиолетовым. В комнатах на стенах висели застекленные репродукции работ Леонардо да Винчи, тонко очерченные головы с распущенными по плечам волосами, задумчиво опущенные глаза, плавные линии рук, живописные складки одежды. Николай часами исполнял прелюдии и фуги Баха и Букстехуде, произведения Моцарта и Генделя, переложения скрипичных концертов Вивальди. Но, пожалуй, на органе у него получалось еще лучше — многотрубный инструмент изрыгал каскад звуков, и раздавалась музыка поистине

космического размаха. И вдруг, словно ангельский голос, серебристо пела труба-принципаль. Они возвращались из Домского собора, где Николаю разрешали играть, мимо домов, словно присыпанных пылью веков, и долго еще, оглядываясь, видели золотистого домского петуха. Ничего этого она больше не увидит, и дети... На них с доброй улыбкой оглядывались люди, когда девочки в белых платьях, с аккуратными бантами в волосах, взявшись за руки по двое, шли в гости. А вот семейство в зоопарке, переходят от вольера к вольеру, задерживаются около слона, который, лениво покачиваясь, шарит хоботом по клетке в поисках хлебных корок, потом девочки бегут к пушистой ламе, и тут Стася начинает плакать, потому что в туфлю попал камешек и натер ей пятку. Николай сажает дочку на плечо и несет ее домой. Он был заботливым отцом, рассказывал им различные истории, рисовал забавные картинки и особенно охотно гулял с ними, порою по нескольку часов, и за редким исключением девочки возвращались домой без хныканья и капризов.

После того события в комендатуре мать поняла всю неустойчивость их положения. Кто знает, где они могут очутиться в ближайшем будущем, поэтому, не теряя времени, надо бороться за культуру детей. Мать стала покупать книги, причем не только беллетристику, но и популярные издания по истории, географии, археологии, естественным наукам, выписывала книги из Томска, с помощью мастера установила в комнате радиоточку, и теперь время от времени можно было услышать арии из опер Чайковского и Римского-Корсакова, Пуччини и Бизе, инструментальную музыку. Девочки много читали, причем далеко не детские книги. Охотно они помогали по дому. Нина теперь уже сама носила из Оби воду, Марина и Стася мыли посуду, прибирали комнату. Летом все четверо охотно работали на своем маленьком огороде.

9

Мать уже не работала в школе, ей стали поручать заказы по оформлению города — вывески, стенды, лозунги. Перед праздниками работы было особенно много. На кровати, на полу, на табуретках волнистыми складками лежит красная материя, на которую мать наносит серебряной или бронзовой краской буквы лозунгов. Ух, как ненавидела она когда-то писать буквы, но теперь другое дело, теперь это

21

22

хлеб. Только бы не пропустить ни буковки, она ведь рас-сиянная. До сих пор мороз по коже, как вспомнит тот слу-чай... Начальник речного порта заказал написать маслом стенд, изображающий увеличенную карту Волго-Донского канала. Стенд был водружен под открытым небом непод-леку от конторы пароходства, и она начала работать. Сна-чала голубой краской наметила контуры двух рек, затем зеленой краской стала накладывать фон. Работа растяну-лась на несколько дней, так как площадь стендса была не-сколько квадратных метров, которую необходимо было по-крыть краской два раза. Наконец почти все было готово, осталось тонкой кисточкой написать названия городов: Ка-лач-на-Дону, Светлый Яр, Сталинград. Начальник порта, в форменном кителе и фуражке, подошел к художнице и стал рассматривать работу. Вдруг он охнул, схватил мать за рукав: «Быстро закрасьте буквы!» Она прочитала по слогам: Ст-а-ли-н-г-а-д, трагически не хватало буквы «р». Мать, ни жива ни мертва, поспешно замазала криминаль-ное название — за такую вещь можно было даже жизни лишиться... Но начальник порта оказался порядочным человеком, он стал успокаивать незадачливую художницу. Но потрясение ее было велико.

Иногда к ним на квартиру приходила Новосадова, жена начальника военного аэропорта. Для общения с ссыльной у нее был свой интерес. Она любила вышивать и просила Татьяну Александровну перевести, перерисовать тот или иной узор на клетчатую бумагу. Не раз Новосадова хва-лила их комнату, находя ее чистой и уютной. Это было так, потому что, несмотря на самодельную мебель, в ком-нате Качаловых была какая-то поэзия, прелесть.

Мать пыталась писать этюды: длинная унылая лужа на фоне коричневатых кособоких сараев, стремительно теку-щая Обь с пойменным левым берегом, портреты дочерей. Но работы получались бледными и вялыми, выражая внут-реннее состояние художницы, в которой ощущение несво-боды душило внутренние силы, не давало глазу зоркости, а кисти — утонченности и силы.

Продолжалась трудная борьба за существование.

Прошел лед, дождались парохода, взошла картошка на огороде. Лето быстро набирало силу. Как-то в погожий день мать шла по крутому берегу реки, посматривая вниз, на купающихся. Она не умела плавать, всегда боялась воды, но особенно опасливо относилась к Оби, которая каждое лето уносила не мало жизней. На прибрежном песке было много народа, раздавались веселые голоса,

смех, большинство купаются и ныряют возле берега, но вот почти на середине реки мать увидела четыре детских головы, как далеко заплыли ребята. Мать остановилась, не в силах оторвать взора от смельчаков, которые тем временем повернули к берегу. Вот четыре девчачьи фи-гурки, в облипающих тело майках и трусах, вышли на пе-сок, и в двух из них она узнала своих дочерей.

— Девочки, Марина, Нина, — раздался гневный крик, — сейчас же наверх!

Девочки, с сандалиями и платьями в руках, понуро поднялись по глинистой лестнице.

— Кто вам разрешил лезть в реку?

— А что с нами случится? Мы же хорошо плаваем, ты сама видела, — упрямо произнесла Нина, выжимая мок-кие волосы.

— Это ничего не значит, в реке бывают водовороты, омыты, может случиться судорога.

Тут Марина сказала:

— А ведь мы уже второе лето плаваем, только не хотели говорить.

Мать и девочки возвращаются молча. А день прекрас-ный, курчавятся зеленые кусты, переливаются серо-изум-рудными тонами заречные дали, в сухом, пахнущем наво-зом воздухе жужжит ошалевшая от жары муха.

Перед крыльцом барака прыгают в начерченных на земле квадратах-классах Стася и Надя; увидев мать и сестер, они бросают играть и спешат в сенки, домой, так как проголодались.

В этот момент приходит почтальон и приносит извеще-ние на посылку. Работница с улыбкой протягивает матери небольшой, но тяжелый, обшитый материей ящик.

Девочки несут посылку по очереди, энергично ступая по шатким, дрожащим доскам тротуара. Сегодня у них празд-ник, будут подарки. Дома посылка бережно распаковыва-ется, в ней поношеные, но вполне хорошие платья, юбки и блузки, кубики какао и бульона. Мать сверяет содер-жимое посылки с описью, все есть. Вот и письмо на самом дне, под вещами, мать быстро пробегает его глазами, все здоровы, шлют приветы. Девочки тем временем, нарядив-шись в обновы, исполняют танец маленьких дикарей.

Снова наступил март, за плечами осталось четыре года сибирского житья.

Холодным мартовским днем мать зашла к Симе, чтобы одолжить у нее соли: поставила вариться картошку, а со-лонка оказалась пуста. Сима пожаловалась, что муж учил-

нил скандал из-за недостаточно чисто, по его мнению, выстиранных полотенец и теперь у нее разболелась голова, надо бы выпить чаю с молоком. Женщины поставили на огонь чайник, включили радио. Из репродуктора полилась траурная музыка. Женщины переглянулись. Звуки бетховенского марша леденили кровь, вызывали необыкновенную тревогу, на глаза наворачивались слезы, женщины изводились в нетерпении: кто же умер?

Наконец раздался низкий, бархатный, медленно и скорбно выговаривающий слова голос диктора:

— Не прекращается живой поток трудящихся, пришедших в Колонный зал, чтобы проститься с горячо любимым вождем и учителем ...

Дальше они не слушали, радостно вскрикнули и бросились друг другу в объятия, смех смешался со слезами радости. Такими их застала Марина, которая рассказала о всеобщей скорби в школе, где все — от директора до первоклассника — плачут.

Да, люди были в отчаянии, многие задавали себе вопрос: что же с нами будет?! Невозможно было представить себе жизнь без Сталина, почти все головы впитали мысль о мудром отце народов, друге и учителе... И лишь сравнительно мало лиц светились тайной радостью, преприсированные надеялись на перемены, верили, что попранная законность восторжествует, ошибки, приведшие к нищете деревень, бюрократизму, будут преодолены.

В ожиданиях и надеждах прошел год. Как будто бы все шло по-прежнему, однако не было уже былого пафоса у работников госбезопасности, смелее и громче разговаривали на улицах, веселее выглядели ссыльные. И вот пришло первое известие — возвращают детей до шестнадцати.

Пароход «Богдан Хмельницкий» доставил семейство Качаловых в Томск, где они должны были расстаться: дочери возвращались в Ригу, к бабушке и дедушке, а мать пока оставалась в Сибири.

Загудел паровоз, медленно поплыли вагоны, и мать увидала за стеклом дорогие лица, приплюснутые носы, прилипшие к стеклу лбы, и все, растаяли в переплетении рельс последние огоньки поезда, и она одна. Ну что ж, миссия ее выполнена.

Николая Львовича реабилитировали в декабре 54-го, и скоро произошла его встреча с повзрослевшими дочерьми. Вернулась в скором времени и Татьяна Александровна, но с мужем уже не жила. Они разошлись.

И ДАЖЕ КАМЕНЬ ГОВОРИТ...

В этот час уже утихла многоголосица, недавно в полную силу звучавшая на площади, в глубине которой возвышался памятник Поэту. Всласть набегавши, разбрелись по домам ребяташки. Исчезли гуляющие пары: туман, опустившийся на город, прогнал их. Теперь только редкий запоздалый прохожий торопливо проходил по каменным плиткам, оставляя отголосок гулких шагов, и снова воцарялось безмолвие.

Когда совсем стемнело, ожили, загорелись фонари. Свет их полегоньку рассеял туманное одеяние, скрывавшее памятник. И вот из глубины гранитной глыбы раздался голос. Был он тише дуновения ветра. Только фонари и подстриженные елки, темным полукружьем обступившие памятник, могли расслышать его.

Давным-давно это было. Я родился в горах. Привольно текла моя жизнь. Надо мной было небо и неустанно совершающее свой путь солнце. Оно бывало то дружелюбным, спокойно-лучистым, то мглистым и далеким. А порою оно беспощадно заливало меня жгучими лучами. Но когда дело доходило до морозов, я страдал еще больше. Я ждал их после отлета последних птиц. И тогда уже начинал исподволь сжиматься. Но все равно удары мороза заставали меня врасплох. Замороженный, я почти полностью терял способность чувствовать. Начинал падать снег. Он шел сначала медленно, словно танцуя, потом валил неразборчиво, густо. Слабые частые прикосновения снежных хлопьев приносили облегчение. Скоро я оказывался укутанным снежной перинкой.

Когда приходило время снегу таять, тоненькие голубые струйки сбегали вниз, щекоча мне бока. Солнце становилось все ласковее, можно было ждать птиц.

И они прилетали. Сначала на небе появлялись движущиеся черные точки, которые постепенно вырастали, превращаясь в крылатые существа. Птицы наполняли воздух звонкими голосами. Иногда стая останавливалась в горах отдохнуть. Как-то по соседству со мной, в кустах, поселилась пара пичуг. Я любил прислушиваться к их разговорам. Птицы болтали о своем гнезде, о будущих птенцах, порою ссорились. Иногда среди повседневных птичьих забот проскальзывали воспоминания о странствиях, о встречах с человеком. Птицы называли его могучим, непостижимым существом. Но я не знал, что такое — человек.

Так и жил я, предоставленный самому себе. Тихие думы посещали меня: казалось, такой жизни не будет конца.

Но однажды возле меня раздался непонятный шум, а потом внезапная резкая боль впилась в мое тело. Что-то твердое и острое вонзилось в меня и погружалось все глубже и глубже. Когда я вновь обрел способность чувствовать, то понял, что я разбит, вырван из материнской горы. Мою истерзанную плоть поднимало и опускало, мотало из стороны в сторону, ударяло о что-то твердое. А вокруг в огороженном пространстве была темнота. Я был в ловушке. И ловушка двигалась.

Тряска прекратилась, свет захлестнул меня, какая-то сила резко подняла, потом бросила меня вниз. Немного освоившись, я убедился в том, что лежу на плоском основании совсем близко от земли, в полуутемном узком пространстве. Воздух душный, пыльный, с запахом гари и еще чего-то, мне неизвестного. Прежняя жизнь больше не вернется, это я чувствовал. Сейчас я обрел долгожданную неподвижность, но надолго ли? Может быть, завтра меня ожидают еще худшие испытания. Так жил я на новом месте, тревожась и надеясь, тоскуя по воле.

В один прекрасный день в помещении стало светлее, и я увидел перед собой незнакомое существо. Оно напоминало дерево с шарообразной вершиной. Снизу ствол раздваивался, образуя два ствола потоньше. Пониже вершины от ствола отходили две тонких подвижных ветки, а с шарообразного окончания смотрели очень живые серые глаза. И тут меня осенило: это же

человек, о котором поведали птицы. Но вместо богатыря передо мной было существо в несколько раз ниже и тоньше меня. Я почувствовал разочарование и одновременно смутную тревогу. Ведь как-никак он хозяин положения, и, судя по птичьим рассказам, способен на все. Нет границ его возможностям, говорили когда-то птицы, человек может созидать, но может нести и смерть. С какими намерениями он пришел? Может быть, отправит меня обратно? Но я не угадал. Человек достал из мешка какие-то странные толстые и тонкие штуки (позже я узнал, что они называются инструментами) и обрушил на меня град сокрушительных ударов. Он откалывал от меня куски. Задыхаясь от боли, я сопротивлялся как мог, но человек был сильнее. Через некоторое время он перестал увечить меня, отбросил инструменты и коснулся меня рукой. Его прикосновение было негрубым, человек начал поглаживать те места, где боль была особенно резкой. Тепло шло от его пальцев, от всего человеческого существа, оно проникало в меня, словно пытаясь загладить причиненную мне боль. Но я не мог, не хотел прощать человека. Пытливые глаза упорно смотрели на меня, они хотели постигнуть, что же скрывается во мне, но я вытолкнул из себя чужую волю, спрятав свое сокровенное поглубже. Иными словами, я объявил человеку войну.

Он ушел и появился на следующий день, собранный, строгий, и снова начался между нами поединок. И так — день за днем. Я яростно сопротивлялся, выталкивая из себя мысли и волю человека, все глубже замыкаясь в себя, изгоняя даже собственные ощущения. А ночью изо всех сил старался вернуть себя, призывал воспоминания о счастливой жизни, с отчаянием думая о солнце, ветре, почти забытых мною птицах. Вокруг было тихо, из окна лился слабый свет, через стекло ко мне заглядывали сонные листья, они чуть кивали мне, силясь что-то передать, но я не понимал их знаков.

Однажды утром, как всегда, пришел человек и начал работать. Но сегодня удары его были несильными и, пожалуй, неуверенными. Что это с ним? Он сегодня какой-то странный. Вдруг человек отбросил инструменты, схватился за голову, застонал и повалился на пол. Он лежал около меня, бормоча что-то.

Я прислушался: «О камень, какой ты сильный, ты сильнее меня. А я-то надеялся победить тебя, вложить в тебя свою душу, самонадеянный я глупец, жалкая посредственность. Я заслужил свое поражение. О камень, ты оказался сильнее меня».

И тогда со мной что-то случилось: сам не знаю почему, но мне стало жаль человека. Ну что мне стоит приоткрыться немножко, показать краешек своей души, ведь меня от этого не убьет. Я хозяин положения, сам человек признал это. А мне только того и надо было.

В моей жизни произошел перелом. Я перестал тяготиться своим положением. По утрам я ждал появления человека. Он приходил задумчивый, нервный и сначала долго всматривался в меня; потом вдруг быстрая улыбка пробегала по его губам. Человек уверенно брался за инструменты. Движения его стали более бережными, они почти не причиняли мне боли. А может быть, просто я привык. Жизнь больше не казалась невыносимой. В те часы, когда я оставался один, я не замечал серых стен, я вспоминал движения человека, его лицо вставало передо мной, оно было серьезным, значительным, от него исходила сила. Я научился различать в человеке какие-то новые черточки. Так постепенно мы начали понимать друг друга.

Стали появляться незнакомые люди. По одному, по двое они заходили в помещение и останавливались, рассматривая меня. Они то приближались, то снова отступали в глубь зала, не отрывая от меня взгляда.

— Как вам удалось заставить его жить? — говорили они моему человеку. Он слушал и улыбался, конечно, ему было очень приятно, что работа удалась. Забыв свои прошлые неудачи, успех он полностью приписывал себе. И только я один ничего не забыл, я один знал, что всегда был живым.

Теперь давно уже я стою на площади, и спокойствие не покидает меня. У моих ног играют дети, мимо идут прохожие. Я люблю беседовать с домами, в окнах которых так ярко полыхает утреннее солнце. По вечерам, когда свет уходит, я думаю о моем человеке: где он сейчас, что теперь делает?

Ко мне нередко подходят люди, они смотрят на меня мечтательно или сосредоточенно, реже — рассе-

янно. Но такого взгляда, как у моего человека, я не встречал больше ни у кого.

Когда шум города тает, небо становится мглисто-ливовым и горят ровным светом фонари, я думаю о будущем. Всякое существо, конечно, задумывалось об этом. Придет время, пусть это будет не так уж скоро, но все же оно настанет, когда я превращусь в обломки, в щебень. А затем и вовсе песком рассыплюсь по земле. Сквозь трещины земные приникну я к матери-магме, и даст она новое рождение.

И камень умолк. Фонари задумчиво светились. Чуть шелестели ветки сонных деревьев. И стояла тишина, словно бы и не звучал из глубины камня голос.

КОВАР

Небольшое странного вида животное пробиралось сквозь обрамленную лесом цветущую поляну. В тех местах, где июльские травы были выше, снизу тянуло прохладой. Его клюв двигался от усилия распознать зверобоя среди множества других трав. Слезящиеся от яркого света глаза выискивали в многоцветье каждое желтое пятнышко, каждую крапинку желтизны. Чуть поодаль он заметил в густых зарослях светло-желтое облачко и устремился туда, так легко ступая подушечками покрытых пушком четырех лап, что почти не пригибая траву к земле. Увы, желтое облачко оказалось цветущим подмаренником. Зверь прокладывал себе дорогу сквозь переплетения хрупких стеблей, и скоро его шкурка цвета воронова крыла стала совсем желтой от цветочной пыльцы. Он различал вокруг малиновые лепестки полевых гвоздик, лиловые колокольчики, белые душистые метелки лабазника. Мощная сила исходила от луга, даже от множества цветочных запахов голова слегка кружилась. Неподалеку он заметил крупные желтые соцветия. Торопливо двинулся к ним. Стебли мятылицы задевали его крылья, плотно прижатые к бокам, небольшой веерообразный хвост приминал верхушки растений, крупные цветы поповника хлестали его по голове,— зверь не замечал этого. Он думал только об одном:приникнуть к цветущим верхушкам зверобоя, накопившим силу земли и солнца, ощутить на языке целительный терпкий сок... Но золотые цветы оказались зонтиками ястребинки. Надо было возвращаться, однако надежда найти траву все еще толкала на поиск.

Профессор, недавно зафиксировавший выход ковара из яйца и вместе со студентами препроводивший новорожденного к месту жительства — ольхе, теперь

дежурил перед экраном. Он вытер вспотевший лоб и повернулся к сидящему рядом студенту:

— За функционирование центральной нервной и опорно-двигательной систем ковара я спокоен, а вот с инстинктом самосохранения может произойти осечка.

— Будем надеяться, что ковар справится с задачей,— ответил студент, который в свое время почти бесследно дежурил возле согреваемого бета-солнцем крупного, необычной формы яйца гибрида.

До сих пор он, ковар, не отходил от ольхи далеко. А теперь, пожалуй, заблудился. Постоял, осмотрелся. На головку чертополоха села пестрая бабочка. Ярко-зеленый кузнецик выпрыгнул из-под листьев от цветшей пастушьей сумки. Зверю захотелось увидеть шире и дальше. Он взмахнул крыльями, подогнул лапки и взлетел над полем, осматривая окрестность. С небольшой высоты он увидел только бескрайнее поле, дальнюю кромку леса и росший неподалеку кустарник. Озера, на берегу которого высилась ольха, не было видно. Ковар снова опустился среди трав. И опять его потащила вперед сила древнего инстинкта; ковар раздвинул стебли, осыпая себя душистой пыльцой. И опять его ждало разочарование. Желтые цветы кульбабы вблизи нисколько не были похожи на цветы зверобоя. Если бы не сильное недомогание, он не ушел бы так далеко от гнезда, в котором жил уже восьмые сутки, время от времени спускаясь на землю — размять затекшие лапы, добыть корни рогоза и дыгиля в дополнение к жукам и личинкам, которыми он питался. Вчера вечером он отважился на прогулку по окрестным чащам, и глаза его с наступлением темноты ярко светились, словно две зеленые звездочки.

— Профессор, может быть, пора? — спросил студент, напряженно всматриваясь в экран, на котором был виден усталый ковар.

— Нет, эксперимент еще не закончен, — сдвинув брови и крепко сцепив пальцы, ответил учёный, — может быть, все же он найдет себе лекарство.

Ковар вдохнул поглубже, ему надо было выделить из неразберихи запахов самый важный и слепо дове-

риться ему. Но это было нелегко. Ему вдруг захотелось свалиться прямо здесь, в траве, но он преодолел слабость и теперь шел уже без всякой цели. И тогда ковар увидел перед собой стрекозу. Синее веретенообразное тельце, быстро трепещущие слюдяные крылья странным образом притягивали его. Стрекоза легко скользила перед ним, а он бездумно следил за ней. Наконец, стрекоза опустилась на ярко-желтый цветок и вдруг исчезла, словно в воду канула. Ковар стоял перед крупным соцветием зверобоя. Он медленно отщипнул верхушку, ощущив в клюве терпкий целебный сок, прикрыл веками воспаленные глаза, и его усталое существо наполнилось покоем.

Ученый и его юный помощник, выключив на время экран, откинулись на спинки вращающихся кресел. Зверобой был найден, а лучшего лекарства для ковара не сыскать. И все же...

— Надо создать ему подругу,— убежденно сказал студент.

— Угу,— рассеянно отозвался ученый, осторожно вытаскивая из лазерной проекционной установки сделавшую свое дело голограмму стрекозы и кладя ее обратно в коробку. Мысленно он вновь оценивал ковара, созданного для десанта вместе с человеком на охлажденную с таким трудом Венеру: хорошая реакция, способность видеть в темноте, быстрота адаптации, полученные в наследство от дикой кошки, плюс вороновы — умение летать, долгожительство и умеренность в пище. Эти качества помогут гибриду выдержать перебои неустоявшегося климата осваиваемой планеты. Однако надо усилить обоняние и улучшить зрение животного, чтобы у человека не было хлопот с новым другом. Таков был вывод ученого.

Ковар тем временем уже достиг берега водоема, где над зарослями донника и череды, аира и рогоза возвышалась ольха. Легко поднялся в воздух ковар — существо двух стихий — и опустился прямо в сплетенное из корней мандрагоры гнездо, которое стало ему, пожалуй, чуть маловато.

Ирина КАЧАЛОВА

(Рига, Латвия)

Лунные цветы

Ворона
каинула осокорь,
 позвала ночь
из почвы бугристой
мглистой
потянулись белыми хлопьями,
хрупкими колокольчиками
цветы
тихо пьют
небесный свет,
белые и стройные,
забытые
напрочь
Любовью живы эти спушенки.
Дымка поднимается
погладить золотые кудри рассвета,
люди спускаются
оставить на скалах
сочающуюся красноватую надпись:
Я плюс Ты
Синица вышила
песенный узор
на головом своде.
Последнюю шелковинку звука
впитал в себя
кружевной от ветхости пень.
Над зеленою березовой прядью
сомкнулась тишина,